

О времени и факторах становления национальной идентичности в России

Национальная идентичность – сравнительно недавний феномен российской истории: самые первые свидетельства начала складывания этой разновидности социальной идентичности датируются последней третью XVIII века, серьезное распространение она получила во второй трети XIX века, однако вплоть до самого конца имперского периода не являлась доминирующей для всего русскоязычного населения страны. Предшественниками, а порой и современниками национальной идентичности выступали иные типы социально-групповой само- и инореференции: гентильная, локальная (соседско-волостная), конфессиональная, чиновная (в смысле «чинов» эпохи Московского царства), сословная и др. Становление национальной идентичности в России XIX века выступало оборотной стороной процесса деградации сословного строя, конституирования гражданского равенства и возникновения элементов политической демократии. Национализация/демократизация была единым процессом, в ходе которого сословная идентификация индивидов и групп в рамках вертикальной оппозиции «высшие – низшие» уступала место национальной идентификации в рамках горизонтальной оппозиции «свои – чужие». Этот процесс в силу целого ряда социально-экономических, социально-политических и социокультурных факторов развивался не слишком быстро, и не следует поддаваться искушению националистически ангажированного анахронизма и датировать распространение национальной идентичности в России временем раньше, чем вторая треть XIX столетия.

Действительно, при знакомстве с различными историческими источниками складывается впечатление, что по 20-е гг. XIX в. большая часть образованного общества, которое уже не совпадало с придворными кругами и еще не охватывало мелкопоместное дворянство, мелкое чиновничество, разночинцев, купцов, мещан и пр., говорила и даже думала не столько по-русски, сколько по-французски, а свободное владение несколькими иностранными языками больше походило на норму, чем на исключение. П.А. Вяземский свидетельствует: «В старое время и в начале столетия в некоторых слоях общества считалось как-то почтительнее и вежливее обращаться с речью на французском диалекте. Заговаривать по-русски казалось слишком запросто и фамильярно. ...В старое время говорили по-русски более самоучкою. Да иначе и быть не могло. Учителей не было; русских воспитателей не было. В книгах для чтения был большой недостаток. Хороших словарей, общедоступной грамматики налицо также не оказывалось».

Конечно, грамматик, словарей и учителей русского языка было мало, но вряд ли это считалось серьезным недостатком: предложение соответствовало спросу, а спрос был не на язык «подлых» сословий, а на язык, владение которым само по себе если еще и не делало благородным, то было совершенно для этого необходимым и неизбежным. Как писал М.А. Дмитриев, «до 1812 г. чистый французский язык был у нас – и грамота на благородное происхождение, и аттестат на отличное воспитание»; Д.И. Фонвизин подтверждает эту аксиому, рассказывая один эпизод из своей биографии, относящийся еще к началу 1760-х гг.: «Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменялся и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять... Тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному...».

Пока дворянская элита занимала ведущие позиции в социально-политической сфере, доминировали сословные структуры, лежащие в иной плоскости, нежели нации, национальные культуры и национальные языки. Эти люди не только говорили, они и думали по-французски: П.А. Вяземский пишет о своем отце (А.И. Вяземский – генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор): «Он знал несколько иностранных языков, особенно хорошо знал французский. Русский он знал более на практике, нежели литературно и грамматически, как и большая часть русского общества в то время, которое писало умно и дельно, но с ошибками против правил правописания. Жуковский часто сказывал мне, что он часто в разговоре с ним дивился ловкости и меткости, с которыми бегло переводил он на русский язык мысли и выражения, явно сложившиеся в уме его на языке французском». Получивший известность своими национально-патриотическими акциями во время войны 1812 г. граф Ф.В. Ростопчин тоже всегда думал по-французски. А.И. Герцен вспоминал: «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше»; надо думать, что чувствовали они себя там совершенно как дома, ибо Т.П. Пассек характеризует отца Герцена так: «Воспитанный французом-гувернером, как сказывали, родственником Вольтера, он говорил правильнее по-французски, нежели по-русски, и не дочитал до конца ни одной русской книги».

П.Я. Чаадаев, воспитанный гувернером-англичанином и свободно владевший французским, немецким и английским, писал свои «Философические письма» по-французски, так что знаменитое первое письмо, опубликованное в 1836 г. в «Телескопе», потребовалось переводить на русский. Объясняя это в примечании к 7-му письму, Чаадаев писал: «Отдавая эти письма в печать, ...мы полагали, что в наше время цивилизация более чем когда-либо требует распространения идей в какой бы то ни было форме и

что бывают такие случаи, такие социальные условия, когда человек, полагающий, что он имеет сообщить человечеству нечто важное, лишен выбора: ему ничего другого не остается, как говорить на общераспространенном языке...». Иными словами, французский язык для Чаадаева не «чужой», а просто «общераспространенный», и он пишет на нем потому, что так его смогут понять больше людей, чем если бы он писал на русском.

Но дело не только в этом: ему самому удобнее писать по-французски, и именно на этом языке он писал свои частные письма; читать Чаадаеву тоже, видимо, было легче по-французски, так как он призывал своих адресатов писать ему на французском языке – например, А.И. Тургеневу он писал: «Но вы, мой друг, должны писать мне по-французски. Не в обиду вам сказать, я люблю больше ваши французские, нежели ваши русские, письма. В ваших французских письмах больше непринужденности, вы в них больше – вы сами. ...Ваши циркуляры на родном языке – это, мой друг, не что иное, как газетные статьи, правда, очень хорошие статьи, но именно за это я их не люблю, между тем как ваши французские письма не сбиваются ни на что, и потому кажутся мне великолепными. Если бы я писал женщине, я бы сказал, что они похожи на вас».

Таким образом, то, что написано на «родном» языке – это «циркуляр» и «газетная статья»: русский язык – это официоз, нечто внешнее и навязанное, зато все личное легче и лучше передается на французском, который в этом случае, видимо, и следует признать по-настоящему родным. Еще лучше это видно из чаадаевского письма графу Бенкендорфу по поводу обращения Чаадаева к императору Николаю I с просьбой о принятии его на службу, которое он просит передать императору: «Я пишу к государю по-французски. Полагаясь на милостивое ваше ко мне расположение, прошу вас сказать государю, что, писавши к царю русскому не по-русски, сам тому стыдился. Но я желал выразить государю чувство, полное убеждения, и не сумел бы его выразить на языке, на котором прежде не писал. ...Вашему сиятельству доложу я еще, что если поступлю в службу, то в сей раз пишу по-французски в последний. По сие время писал я на том языке, на котором мне всего было легче писать. Когда стану делать дело, то бог поможет, найду и слово русское: но первого опыта не посмел сделать, писав к государю». Совершенно очевидно, что русский язык для Чаадаева – это язык службы, казенный язык, которым он плохо владеет, ибо привык и в личной, и общественной жизни обходиться французским. Действительно, русский требовался ему и людям его круга разве что для того, чтобы давать приказания прислуге; в светских салонах и при дворе говорили почти исключительно по-французски, вся императорская фамилия читала, писала и говорила по-французски, так что А.С. Пушкин даже с некоторым удивлением отмечал в своем дневнике: «В воскресенье на бале, в концертной, государь долго со мной разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и упот-

ребляя настоящие выражения». Не названные «оба языка» – это, конечно, русский и французский, на смеси которых или на чистом французском общались при дворе; сам Пушкин беседовал так с великим князем Михаилом Павловичем, императрица разговаривала с женой поэта, и т.д. и т.п.

А ведь это, между прочим, уже 1830-е гг., когда после европейских революций и польского восстания 1830 г. Николай I стал все более и более склоняться к «русской идее» в ее официально-правительственной интерпретации; что же было за несколько десятилетий до этого? Конечно, в правление Александра I, особенно в первые его годы, по-французски говорили еще больше и чаще; антифранцузские настроения стали появляться только в период антинаполеоновских войн, однако осуждали и порицали французов тогда не иначе как по-французски, равно как и хвалили все русское на том же самом французском языке. Ф.Ф. Вигель вспоминал о периоде непосредственно перед 1812 г.: «Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают».

Самое замечательное, что даже офицерский корпус сражавшейся против наполеоновских войск русской армии, начиная с генералов и заканчивая чуть ли не прапорщиками, говорил по-французски. Патриотически настроенный Ф.Н. Глинка писал: «Крайне прискорбно видеть и в армии язык сей в излишнем употреблении. Часто думаешь, что идешь мимо французских биваков. Я видел многих нынешнего воспитания молодых людей, которые прекрасно говорят и пишут по-французски, не умея написать правильно нескольких строк на своем природном языке!». Насчет «природного языка» Глинка явно погорячился – по крайней мере, у некоторых русских офицеров таковым был именно французский: например, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, будущие декабристы, принимавшие активное участие и в компании 1812 г., и в заграничном походе русской армии, закончившемся взятием Парижа, были неплохо знакомы и с французским языком, и с французской столицей, ибо в 1804 – 1809 гг. они получали образование в частном пансионе в Париже, а вот русский язык Сергей начал учить только в 12 лет, а Матвей – вообще лишь в 15 лет. Александр Чичерин – молодой гвардейский поручик (сын генерала В.Н. Чичерина), находясь в действующей армии во время кампаний 1812 – 1813 гг., вел дневник; так вот, этот дневник, записи в который вносились в палатке, неподалеку от сожженной Москвы, написан по-французски! Более того: по свидетельству Вяземского, на самом поле Бородинской битвы русские генералы (например, Милорадович, Капцевич) говорили на французском языке.

Таким образом, для значительной части русского дворянства по-настоящему родным языком был не русский, а французский. Впрочем, одним французским дело не ограничивалось – многоязычие, т.е. свободное

владение несколькими языками, было нередким явлением: например, адмирал Н.С. Мордвинов знал 6 языков – греческий, латынь, немецкий, французский, английский и итальянский. Причем это касается не только высшей аристократии – так, сын гвардейского капитана Д.С. Дохтуров еще до своего поступления в Пажеский корпус говорил по-французски, по-немецки и по-итальянски, а было ему в то время всего 11 лет. В.И. Киреевский, отец будущих славянофилов братьев И.В. и П.В. Киреевских, вышел в отставку секунд-майором, а знал при этом 5 языков. Так было принято, так воспитывали детей в дворянских семьях: М.С. Лунин (декабрист) сам знал греческий, латынь, французский, английский и польский, а вот с русским у него было не очень – как писал его племянник С.Ф. Уваров, «Мой дядя Мишель хорошо знал различные языки, только не русский». Находясь в сибирской ссылке, Лунин писал свои сочинения по-французски, а затем сам переводил их на русский; на поселении в Урике, куда он выписывал иностранные газеты, у Лунина была библиотека в 397 томов на латыни, греческом, французском, английском, немецком, польском и русском языках. Так вот, Лунин писал сестре, чтобы та ни в коем случае не говорила со своим сыном по-русски, а только по-французски и по-английски, дабы тот быстрее их выучил. Это было не эксцентрическим исключением, а практически нормой: П.П. Семенов-Тянь-Шанский вспоминает о своем детстве (он родился в 1827 г.): «Мать почти всегда говорила с нами по-французски, а в определенные дни заставляла нас говорить и между собою исключительно по-французски и по-немецки».

Так обстояло дело не только в домашнем обучении: не говоря уже о кадетских корпусах и частных пансионах, где изучению языков придавалось огромное значение, даже программы государственных общеобразовательных школ уделяли иностранным языкам больше внимания, чем русскому. По школьному уставу 1804 г., русская грамматика изучалась только в уездном училище, а в гимназическом курсе отсутствовала (уездное училище считалось подготовительной ступенью к гимназии), зато там присутствовали латынь, немецкий и французский. Причем здесь одной грамматикой дело не ограничивалось: учили переводить с латыни на русский и с русского на латынь, а в старших классах обучали писать на латыни и изучали античную классику. Относительно изучения новых языков в уставе предписывалось: «В третьем [классе учителя] изъясняют прозаических Писателей и занимают переводами с природного на Немецкий и Французский языки. В четвертом классе изъясняют Немецких и Французских стихотворцев, и заставляют на сих языках сочинять. Лучшая места из Французских и Немецких прозаических Писателей и Стихотворцев также должно выучивать наизусть». Таким образом, русскую литературу в школе не проходили, в отличие от классической, немецкой и французской, обучение русскому языку сводилось к грамматике и чистописанию, в то время как изучение иностранных языков было по-

ставлено чрезвычайно серьезно. В приходском училище учили только читать и писать на русском языке, и курс его был рассчитан на один год (точнее, на полгода – т.е. на время, свободное от сезонных сельскохозяйственных работ); в двухлетних уездных училищах преподавали только русскую грамматику и чистописание, на что давалось 423 часа, а в четырехлетних гимназиях преподавали только латинский и новые языки, причем на каждый из них выделялось по 752 часа, т.е. всего 2256 часов – в пять с лишним раз больше, чем на русский. Таким образом, приоритеты совершенно очевидны: иностранные языки считались впятеро более нужными, чем русский, который к моменту выхода из гимназии большинство учеников, вероятно, успевало основательно забыть.

Утвержденный в 1828 г. новый школьный устав разбил единую последовательность школ разных уровней: уездное училище стало трехлетним, гимназия – семилетней, т.е. они стали представлять собой два разных типа школы (понятно, что гимназия предназначалась преимущественно для дворян, а уездные училища – для всех остальных). В уездном училище преподавались русский язык и чистописание, а иностранные и древние языки не изучались; гимназии были двух типов – с латинским, французским и немецким, и с греческим, латинским, немецким и французским языками. Соответственно, в курсе уездного училища на русский язык с чистописанием отводилось 1417 часов, а в гимназическом курсе – 2326 часов (причем сюда же попадала и логика); на древние и иностранные языки в курсе гимназий с одним классическим языком выделялось 3948 часов, с двумя классическими языками – 4512 часов. Таким образом, удельный вес русского языка увеличился, однако все еще уступал иностранным языкам в два и более раза, и только в ходе последующих модификаций учебных планов ситуация значительно изменилась: в 1849 г. на русский язык вместе с церковнославянским и чистописанием отводилось 2291 час, на древние и новые иностранные языки – 3877 часов; в 1852 г. в классической гимназии с двумя языками на русский с чистописанием отводилось 1768 часов, на иностранные – 4289 часов, в гимназии с законоведением и естественной историей эта пропорция выглядела как 1856/3349, в гимназии с законоведением – 1997/3349.

Однако еще более значимым был тот факт, что в уездных училищах училось примерно столько же человек, сколько в гимназиях, но в первых иностранные языки вообще не преподавались, так что с каждым годом в стране становилось все больше людей, получивших специфически-национальное образование, людей, которые получили определенную законченную систему знаний, но не владели иностранными языками. А ведь это была только вершина айсберга – одновременно существовали еще приходские училища и масса разноведомственных школ и частных пансионов. К концу правления Николая I в России насчитывалось порядка 10 тыс. школ с 500 тыс. учащихся, а еще через десять лет (1864 г.) – 33,5 тыс.

школ. с 824 тыс. учащихся. В результате в стране появились сотни тысяч людей образованных (по крайней мере, элементарно грамотных: с 1822 по 1857 гг. объем письменной внутрироссийской корреспонденции вырос более чем в 6 раз), но не знавших иностранных языков и, тем самым, мало знакомых с иностранной культурой, зато являющихся потенциальными потребителями книжной, журнальной, газетной и прочей печатной продукции на русском языке.

Этот фактор, в свою очередь, явился предпосылкой роста рынка издательской продукции. В середине XVIII века в России имелось лишь двадцать типографий; в 1813 г. их было уже 66, в 1855 г. – 150, в 1864 г. – 276. Если в начале XVIII в. в год издавалось в среднем по 12 книг, то в начале XIX в. – уже по 150; в 1825 г. было издано 575 книг, а в 1855 г. – 1020 книг, т.е. на 119 названий больше, чем было напечатано за всю первую половину XVIII века! За 1800 – 1855 гг. появилось 499 новых названий журналов, а за одно следующее пятилетие возникло еще целых 147 журналов; если в 1830 г. публичные библиотеки (не ведомственные) были только в Петербурге, Москве и Одессе, то в 1856 г. их количество увеличилось до 49-ти; и подобные цифры можно приводить еще долго.

Читатель демократизировался и, соответственно, национализировался, и то же самое, одновременно и взаимосвязанно, происходило и с писателем. В течении первой половины XIX века российская литература превратилась из чиновно-помещичьего любительского кружка в разночинно-интеллигентское профессиональное сообщество, национализация взглядов и ценностей которого явилась неизбежным коррелятом демократизации его персонального состава. Постепенно выкристаллизовывался социальный тип интеллигента-разночинца, не имеющего ни земли, ни крестьян, ни более-менее значительного чина, который для повышения собственной социальной значимости обращает нужду в добродетель и, сознательно или бессознательно, выступает с отрицанием, критикой того, чего лишен сам. Единственный капитал такого позднейшего интеллигента – это его национальная принадлежность; соответственно, национальное начало, уравнивающее любого аристократа с его собственным слугой, выдвигается на первое место, нация становится высшей ценностью по сравнению с сословием, и литератор объективно делает эту переоценку ценностей целью своей литературной работы.

Между тем, согласно известной формуле Э. Геллнера, нация создается национализмом: важнейшим атрибутом, а в некотором смысле – и субстанцией нации, выступает национальное самосознание, постулирующее отличие его носителей от людей иных наций, в плоскости которого происходит снятие внутринациональных – т.е. сословных, собственно социальных, – различий. Творцами же национального самосознания, как правило (по крайней мере, в историческом аспекте), выступают литераторы – люди, чья профессия неразрывно связана с работой над словом и язы-

ком. Можно даже согласиться с точкой зрения Л. Гумилева, что этнос не жестко связан с языком, но в этом случае нация будет противоположна этносу: нация есть то, что мыслится – если этничность проживается, то национальность промышляется («воображается», по Б. Андерсону). Поэтому нация всецело зависит от языка – языка мысли; этнос становится нацией, обретая национальную литературу – написанную (и прочитанную) на национальном литературном языке. Можно сказать, что нацию создают писатели из своих читателей, усваивающих литературный язык в качестве фундаментальной парадигмы речи и мысли; национальная литература – коррелят литературной нации, и литератор здесь выступает националистом по определению.

Очевидно, что идеи и наблюдения Эрнеста Геллнера о навязывании национальным государством через образовательную систему высокой письменной культуры народным массам, Бенедикта Андерсона – о «печатном капитализме» и «филологической революции» как факторах исторического становления нации, Эрика Хобсбаума – о лингвистической национализации сфер образования и СМИ в XIX веке, равно как и теоретические наработки ряда отечественных представителей социального конструктивизма, эвристичны и методологически эффективны, их можно использовать для анализа процесса становления русской национальной идентичности (не забывая, конечно, об известной критичности, так как конструктивистская установка – лишь одна из многих исследовательских программ, в чем-то превосходящая, а в чем-то и уступающая последним). Особенно это касается проблематики взаимосвязи национализма, демократии и литературного процесса, анализу которой зачастую препятствует остающаяся по сей день фундаментом общественного самосознания национально-эгалитаристская парадигма, которая выступает своего рода фильтром информации, задает систему когнитивных стереотипов, благодаря которой одни аспекты истории литературы выходят на передний план, а другие либо вовсе не воспринимаются, либо не становятся предметом рефлексии. Национализм и эгалитаризм предполагают друг друга – национальное выступает как народное и наоборот; при этом как в генезисе, так и в современном функционировании этой ментально-идеологической связки огромную роль играла и играет образовательная система, особенно преподавание истории, литературы и истории литературы. Однако это доминирование приводит к образованию своего рода «слепого пятна», благодаря которому мы видим в истории самих себя, в то время как следует видеть себя самих в истории. Анализ без самоанализа превращается в простую проекцию настоящего в прошлое, когда национальная идентичность (с ее неизбежно-демократической изнанкой) «вмысливается» во времена, когда ее не было и быть не могло; это функционально для мифологизирующего общественного сознания, но контрпродуктивно для науки. Напротив, следует помнить о том, что все, имевшее начало, рано или поздно обретет свой ко-

нец, поэтому, изучая историю возникновения национальной идентичности, мы неизбежно приходим к прогнозу ее неизбежного исчезновения; было время, когда ее не было, и будет время, когда ее не будет, но что придет на смену – вопрос остается открытым.